

В

Воронеж, по сути, я попал случайно. Будучи выгнан из Плехановского института за организацию забастовки, я несколько месяцев провалялся в депрессии, потом по пьяному делу упал в кафе «Аист» с шестиметровой лестницы и сломал основание черепа.

В Москве после забастовки у меня был, что называется, «черный билет». Даже на должность грузчика удалось устроиться с десятой попытки. Пригрело меня издательство «Советский художник». Бригадиром у нас работал хороший, разумный человек Миша, который часа в два пополудни решал, что мы переработали и пора шабашить. Найдя круговую развязку и причалив неподалеку наш грузовик, заставленный бобинами с плотно упакованной бумажной лентой или с маленькими и даже изящными, но тоже очень тяжелыми ящичками со свинцовыми буквами для наборных машин (любые шрифты и любые кегли), мы прямо посередине покрытого нежной травой газона устраивались на пикник.

Миша любил круговое движение и коловращение жизни, оно лишь оттеняло наш заслуженный отдых. Разложив на клеенке нехитрую снедь (каждый приносил из дома что мог) и налив по стакану водки, Миша вместо тоста обыч-



Профессор ВГУ
А.И. Немировский

но возглашал: «Время с..., а мы еще не жрали». После чего мы приступали к трапезе.

В общем, до грузчика я дорос, что же касается поступления в институт, тут дело обстояло кисло: ко всем моим прочим грехам добавлялось, что я не комсомолец. И вот как-то в гостях у родительских друзей я познакомился с замечательным человеком — историком-античником, преподававшим в Воронеже, Александром Иосифовичем Немировским. Час проговорив со мной о классическом мире, о тамошних богах и героях, об императоре Августе и Юлиане Отступнике, — к моему собственному удивлению, и в одном, и во втором, и в третьем я плыл, а не тонул, — он вдруг сказал: «Володя, а почему бы вам не попробовать поступить к нам на истфак?».

К тому времени я уже понимал, что из Москвы так и так придется уехать, здесь меня никуда не возьмут. Короче, решил: чем черт не шутит? И вот мы с мамой в степное июньское пекло высаживаемся на воронежском перроне.

В Воронеже был тогда и до сих пор остается налет столичности, десяток монументальных зданий, балет — все это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако больше в нем от лишенца. Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной ему оставили едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.

После революции здесь осели многие: и дерптская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил подняться, снова встать на крыло. Все они быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко — до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Сойдясь, эти разные и опять-таки различинные интеллигентские толки, как прежде, ставили любительские спектакли, играли в преферанс и буриме, а под Новый год крутили тарелки, снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, — длинные иглы их почти не опадали.

Бытовала тут и неплохая наука: хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи, в деревнях мешанина всяческих сект — граничность этой территории, хоть и было время всею смешаться и сойти на нет, еще чувствовалась — старообрядцы, молokane, хлысты; странное село с блеклым русым выходящимся народом, упорно считавшим себя евреями, — то ли адвентисты, то ли потомки хазар; разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, правда, уже без немцев, — все это среди ровного пространства степи, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где пыльный и жгучий ветер давно уже должен был сдуть и смешать все.

Так получилось, что ни разу до той поры не побывав в Воронеже, я много о нем читал. Первой книгой о Воронеже и одноименной губернии стал том из «Полного географического описания нашего отечества» под редакцией В.П. Семенова-Тян-

Шанского, по-моему, и спустя век лучшего нашего географа, социолога и экономиста. Потом среди книг в отцовской библиотеке мне попала «ЦЧО» Пильняка и Платонова. Дальше пришла очередь других книг Андрея Платонова, который в Воронеже родился (Ямская слобода), учился и о нем, об этом городе, и о той земле, которая, как говорили в старину, «к Воронежу тянула», писал всю жизнь. Это мог быть Воронеж времен Петра Первого в «Елифанских шлюзах» и Воронеж Гражданской войны, которая туда-сюда ходила по этой губернии не один год. О ней не только его главный роман — «Чевенгур», — но и сотни заметок и сообщений, которые изо дня в день он как рабочий корреспондент печатал в местной газете «Коммуна». Позже здесь же, в Воронежской губернии, инженер-мелиоратор Андрей Платонов построил много десятков плотин, еще позже стал свидетелем коллективизации — очерк «Впрок» и повесть «Котлован». За «Впрок», на полях которого Сталин как приговор написал: «Талантливый писатель, но сволочь», ему и сломала жизнь.

Воронеж, ссылка в Воронеж была началом гибели и другого, во всех смыслах самого для меня важного писателя и поэта в русском XX веке — Осипа Эмилевича Мандельштама. У отца еще с середины 60-х годов была машинописная копия «Воронежских тетрадей» с бездной вариантов и незаконченных стихотворений, и, думаю, что именно благодаря Мандельштаму я стал понимать, что такое вообще стихи. Из чего они вылупляются, как растут и пускают новые побеги.

Но пока вернусь к Андрею Платонову. Впервые «Котлован» оказался у меня в руках, кажется, в мой лет пятнадцать. Отцу на день рождения подарили слепую копию повести, и я, прочитав ее, до сих пор помню свое ощущение от этой вещи. К тому времени через наш дом прошло немало самиздата, советскую власть я уже на дух не принимал, и все равно «Котлован» показался мне тем не подлежащим обжалованию приговором ей, которые она сама так любила.

Эта власть всегда казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков, без эмоций.

И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого все в ней было тепло, задевало, трогало, самые малые удачи вызывали восторг. Платонов — это было ясно — очень долго ей верил, был готов работать для нее дено и ночью. То есть для него эта власть была своей (или он мечтал, чтобы она для него своей стала), — и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось.

Тех писателей, кто смотрел на революцию со стороны, было много, потому что большинство выросло в старой культуре. Теперь, когда она была разрушена, они честно пытались понять, что идет ей на смену, но им это было тяжело. Платонов же мне представляется писателем, едва ли не единственным, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри.

И герои его, как сектанты в деревнях, окружавших Воронеж, умерщвляли свою плоть, чтобы духа и святости в них становилось больше, а плоти — этих вериг, которые тянут человека в грех, меньше. По этому пути шли его герои в воронежских «Чевенгуре» и «Котловане», по нему шла вся Россия времен революции и Гражданской войны.

В Воронеже мы с мамой поселились в гостинице, а первым человеком, к которому Александр Иосифович нас отвел, была Наталья Евгеньевна Штемпель. К своему стыду, я не сразу сообразил, что это та самая «ясная Наташа» из «Воронежских тетрадей» Осипа Мандельштама, адресат едва ли не лучшей любовной лирики XX века:

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка...

И строки из другого стихотворения:

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождают воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.

Раскаленными, хотя уже близко к вечеру, еще в мареве улицами, идем к Наталье Евгеньевне. Во дворе желтого оштукатуренного дома на Никитинской несколько серовато-зеленых высоких тополей; входим в подъезд — здесь прохладнее, — и скоро мы в небольшой квартирке.

Открыт балкон, рядом с ним кадка с фикусом и подстилка на полу. Наталья Евгеньевна, возможно, самый добрый и прекрасный человек из встреченных мной в жизни, помогала всем, в числе прочих подбирала и выхаживала больных кошек: в тот момент ее главным постояльцем был потрепанный розовато-бежевый кот с бельмом на глазу. У него воспаление легких, он подолгу хрипит и сухо, как человек, кашляет. Уже на кухне Наталья Евгеньевна говорит, что, бывает, кот уходит из дома на сутки-двое, но потом всегда возвращается. А если уйдет совсем, то потому, что не захочет умирать у нее на глазах.

В квартире есть большая общая комната и маленькая — в ней что-то вроде крохотного кабинета. Здесь, когда нелады дома, работает Александр Иосифович.

Садимся пить чай с собственноручно ею сваренным клубничным вареньем. Наталье Евгеньевне на вид лет шестьдесят. Глаза и все лицо круглое и очень-очень доброе, волосы серо-седые, чуть волнистые, зачесаны назад и собраны в небольшой пучок. Наталья Евгеньевна худенькая, длинное, в цвет волос, серо-голубое платье лишь слегка маскирует ее хромоту. Одна нога сильно короче другой, и, чтобы хоть как-то их уравнивать, она носит черные ортопедические ботинки. И все равно, когда куда-то спешит, слегка подпрыгивает. Ее влечет та самая «стесненная свобода». Именно этот первый вечер у Натальи Евгеньевны и определил, что, прибывший воронежской пыльной жарой, я все же не собрался и не уехал обратно в Москву.

По природе своей я человек довольно консервативный: привыкаю к определенному месту и к определенным людям. Люблю видеть, разговаривать, сидеть за одним столом с теми, с кем знаком, кажется, уже сто лет. Но здесь все так сложилось, что город как-то несуразно быстро стал наполняться для меня родными людьми и обрастать самыми разными историями: некоторые из них были вполне страшными, другие больше походили на анекдот.

Вобщем, сдав экзамены, я уже понимал, что, несмотря на Александра Иосифовича, Наталью Евгеньевну, которая с привычной для нее щедростью позвала меня к себе жить, я эту, пока совсем чужую для меня жизнь, вряд ли сволоку. Очевидно, высшие силы думали то же самое, потому что два дня спустя проректор ВГУ Владимир Гусев сказал мне: «Вы должны понимать: факультет у нас идеологический и зачислить на дневное отделение некомсомольца мы не имеем права». Я ему с некоторой иронией: «Раньше надо было заваливать». Он: «Это наша ошибка, больше мы ее не повторим».

Тем не менее, мне с моими баллами разрешили участвовать в конкурсе на заочное отделение, куда ближе к сентябрю я и был зачислен. То есть жесткая воро-

нежская оседлость сразу сменилась для меня двумя наездами в этот город: зимняя сессия в январе — десять дней, и летняя — двадцать дней в июне.

Наталью Евгеньевну окружало множество людей. Это и соседи по дому, и остатки той самой московской, питерской и дерптской интеллигенции, которые или в Гражданскую войну, или сразу после нее здесь осели и у которых больше не было сил встать и бежать дальше. Все они с течением времени пустили тут корни, и многие из них были связаны с Воронежским университетом, другими первоклассными институтами: сельскохозяйственным, медицинским, инженерных технологий, которых в Воронеже был чуть не десяток.

Людей того первого послереволюционного призыва к семьдесят первому году, когда я поступил сюда учиться, уже почти не осталось, но память об устройстве их жизни уцелела. Как и они, у Натальи Евгеньевны мы самозабвенно играли в буриме и шарады. В доме у нее было принято не только чаевничать и часами взахлеб читать стихи, но и крутить тарелку, вызывать духов. По Москве того времени я это занятие уже не упомяно.

Было много рассказов Натальи Евгеньевны о предвоенном Воронеже, когда все эти люди были еще живы и в силе. Я слушал о блистательном дерптском ботанике Б.М. Козо-Полянском, о воронежских краеведах до тридцатого года, когда они, как и большинство занимавшихся местной историей, по всей стране пошли под нож. Слушал, как собиралась и писалась история каждого пригородного села или слободы. Замечательные люди, что в нем родились, и замечательно красивые места в его окрестностях, родословия дворянских и купеческих семей, и как было поставлено хозяйство в здешних черноземных имениях.

По Воронежской губернии проходила знаменитая Засечная черта, перерезавшая тракты и шляхи, по которым крымские ханы совершали набеги на Центральную Россию. Опять же именно здесь Петр Первый строил первый на Руси флот. И эти мои книжные знания, очень любимые и достаточно точные, шаг за шагом обрастали живыми людьми и их историями, делались своими, теплыми. Продолжалось это и дальше, все шесть лет, которые я проучился в Воронеже.

Воронежский университет был основан вскоре после того, как Эстония стала независимой. Тогда, в 1918 году, русская часть профессуры Дерптского университета — те, кто не поехал дальше на Запад — в Германию, Францию, Америку, — а решил вернуться обратно в Россию, получили при разделе почти половину уникальной библиотеки, — перебралась в Воронеж. И вот с этим разделом уже у меня лично связаны две истории. Первая, повторяю, страшная.

В 1973 году, когда я был на втором курсе, выяснилось, что библиотека Воронежского университета переполнена и хранить книги больше негде, даже пожарная лестница была использована — вдоль всех ее пролетов до потолка стояли книги, других резервов не осталось. Но книги в стране продолжали издаваться, университет продолжал покупать эти книги, потому что учить советских студентов без написанного, например, Брежневым, было нельзя.

А дальше произошел естественный кризис роста, и университетское начальство, поразмыслив, решило — идеологию тут и на грош не было, — что те книги, которые студенты годами не выписывают, следует подвергнуть аутодафе. Были люди, которые предлагали сдать их в букинистический магазин, но он был всего один, и тамошний товаровед просто не знал, сколько могут стоить, например, инкунабулы. У него даже никаких соображений на этот счет не было, и опять все решили, что проще сжечь.

И вот несколько огромных костров — горят тысячи и тысячи книг — вокруг каждого — милиция, чтобы никто не мог выхватить какой-нибудь томик из огня и унести домой: ведь он государственный до последнего клочка пепла. Вокруг одного из костров мы — студенты и аспиранты Александра Иосифовича Немировского. Во главе, естественно, он сам. Мы прорываемся через этот милицейский

кордон и, если повезет, успеваем что-то схватить. Мы даже нигде и ни в чем не нарушаем закона, потому что в последний момент Немировскому приказом ректора разрешили взять на кафедру 400 томов.

Чтобы было понятно, что горело: было решено сжечь большую часть античной коллекции библиотеки. Сотни тысяч томов, в основном на латыни, которой никто из библиотекарей не знал, соответственно и не мог разобраться, что это за книга. Среди них десятки инкунабул, напечатанных в венецианских, флорентийских и падуанских типографиях, других местах, где начиналось книгопечатание. Знаю, что и тогда уже они стоили миллионы. Но были книги и более замечательные. Немировскому удалось выхватить из огня и сделать кафедральной собственностью огромный, тяжеленный рукописный фолиант на пергамене — еще в раннее Средневековье перерисованный с какого-то античного оригинала план сицилийских Сиракуз.

Сиракузы были крупнейшим городом Великой Греции. Его раскапывают уже больше сотни лет и будут раскапывать до окончания времен — так он велик. И вот каждый раз, когда что-то находят, в археологии начинаются споры: что это был за дом, кто в нем жил и им владел? А тут, в библиотечной рукописи, все было так же подробно расписано, как на современной гугловской карте: и дворцы, и общественные здания, и улицы с площадями. Кому принадлежал тот или иной дом и что это было — вилла, лупанарий или просто таверна, в общем, все так, что и раскапывать, в сущности, резона нет.

И вот Немировский, который прошел войну, до конца дней считал самым большим своим счастьем, что как раз в этом, семьдесят третьем году несколько больших поволжских пединституты «подняли в чине», сделали их университетами. Соответственно, они получили довольно большие деньги, в числе прочего и на библиотеки. Умолив ректорат на неделю прервать аутодафе, дать ему шанс, он бросился в эти города теперь валяться в ногах уже у тамошних ректоров, чтобы они книги, которые в Воронеже еще не успели сжечь, взяли в свои библиотеки. Книжки на латыни были никому не нужны, и все-таки ректоры, покочевряжившись для порядка, соглашались, брали. И больше античной коллекции в Воронеже не жгли.

Тартуский университет отыгрался в моей жизни и еще раз. Теперь уже в более веселой истории. Так получилось — это уже 77-й год, госэкзамены, а, значит, и самый конец моих регулярных поездок в Воронеж, — что я стал родоначальником, приемником (не автором), как мне кажется, лучшего воронежского анекдота за все времена.

Фамилия моя в самом конце списка, так что и госэкзамен я сдавал чуть не последним. Я маюсь и жду своей очереди ответить на вопросы по научному коммунизму. Часа два или три дня. Ветер из Средней Азии нагнал разогретый воздух и пыль — дышать нечем. А экзамен затягивается и затягивается. Я хожу по длинному коридору и, поскольку делать нечего, читаю все, что вывешено на стенах, бездну какой-то никому не нужной информации. Наконец, кажется, все прочитано, а до научного коммунизма мне так же далеко. Вот и последнее, что я не прочитал: по правую руку от кабинета ректора в золотой раме, увеличенное в несколько раз прошение перебравшейся в Воронеж дерптской профессуры выделить вновь открываемому университету какие-то, даже по тем временам ничтожные деньги. Внизу размашистая подпись: глава Совнаркома В. Ульянов (Ленин). И вот я читаю один раз, читаю второй, читаю третий. Все вроде бы точно так, как должно быть, и в то же время я чувствую, что здесь что-то не то. И лишь с пятого раза понимаю, что не то, хотя резолюция ясна и прозрачна: «В ассигнованиях отказать».

Я это прочел еще дважды, все никак не мог поверить, что не ошибся, и до сих пор убежден, что предшественников у меня не было. А когда оторвал глаза от этой бумаги с ленинской резолюцией, вижу, ко мне подходит случившийся неподалеку Александр Иосифович Немировский. Спрашивает: «Володя, вы что улыбаетесь?». Я: «Есть чему». Он: «Вам научный коммунизм надо сдавать, а не улыбаться».



В.П. Криворучко. Портрет Н.Е. Штемпель. 1993. (Окончила литературно-лингвистическое отделение ВГУ в 1930 г.)

ся». Я: «Одно другому не мешает». Он: «Так все-таки, что вас развеселило?» Я: «Вам расскажешь — вы растреплетесь, и больше ничего не будет». Он: «Не растреплюсь». Я: «Честное слово?» Он: «Честное-пречестное».

Подвожу его к той самой золотой рамке. Как и я, он читает резолюцию один — другой — третий раз и тоже все чего-то не понимает. Наконец отрывается и тяжело вздыхает. Качая головой, смотрит на меня.

К сожалению, Немировский не сдержал слова и через три дня, когда я шел в канцелярию получать документы, ни золотой рамы, ни резолюции на стене уже не было.

Наталья Евгеньевна и Александр Иосифович, не чинясь, населили для меня Воронеж своими знакомыми и друзьями: Александр Иосифович — учениками и аспирантами, а Наталья Евгеньевна по большей части именно друзьями; и не только теми, которые тогда были живы, но и всеми, кого они встретили за свою не такую уж короткую жизнь.

Еще с московских времен я неплохо знал стихи Осипа Эмильевича Мандельштама, но мне и в голову не приходило, до какой степени все это было жестко привязано к людям, к их разговорам и прогулкам с ними, к поездкам за город, когда стоило тебе сойти с поезда, под ногами и всюду, куда доставал глаз, то есть прямо до горизонта, шел жирный, преющий на солнце чернозем.

У Натальи Евгеньевны была фотографическая память, она помнила каждую минуту своей жизни. Даже прожитая жизнь в ней не умирала, оставалась вся как есть. И пока она была жива, все дни и часы жизни Мандельштамов в Воронеже тоже никуда не уходили, продолжали жить не только в его стихах, но и в ее памяти. Я долго не мог себе простить, что ничего этого не записывал, хотя сейчас знаю, что в семидесятые годы к Наталье Евгеньевне в Воронеж приезжало довольно много людей, которые за ней записывали и снимали на пленку то, как она рассказывает. Так что можно надеяться, что это не канет в небытие.

Вот Наталья Евгеньевна объясняет, как она впервые познакомила Осипа Эмильевича со своим женихом. Она сама и Надежда Яковлевна идут чуть впереди, а Осип Эмильевич с ее женихом — чуть позади и разговаривают. А вот здесь они заворачивают за угол дома — и точно так все это остается в «Воронежских тетрадах».

Вот Наталья Евгеньевна, по обыкновению за чаем с клубничным вареньем, жалуется мне, что познакомила О.Э. с очень милым, хорошим человеком, который разводил кур, и они даже ездили к нему, во дворе дома как раз и помещался курятник. А Осипу Эмильевичу там не понравилось, и он написал на этого человека довольно злоую эпиграмму, где обозвал его «куроводом». И, смотря мне в глаза, ищет согласия, что это нехорошо, а я, как могу, защищаю Осипа Эмильевича, говорю, что, во-первых, в слове «куровод» нет ничего оскорбительного, а во-вторых, эпиграмма вовсе не злая; легкий сарказм, конечно, есть, но больше никакого криминала.

Так было чуть ли не с каждым стихотворением из воронежских циклов Мандельштама, и я помню, что поначалу меня такая жесткая привязка к местности, такая укорененность в земле смущала. Мне казалось, что для строк Мандельштама буквальная прописка излишня. Но прошли годы, и постепенно сами стихи, то, как я их читал, как понимал и слышал, и рассказы Натальи Евгеньевны между собой договорились, теперь так и живут вместе.

Наталья Евгеньевна не меньше, чем о Мандельштаме, рассказывала о своей родне, и это было не менее интересно. В ней чувствовалась немецкая кровь, очень аккуратная, ясно выговаривающая слова — дань преподавательской работе — с выверенными, четкими, несмотря на хромоту, движениями. Голос звонкий, но тоже твердый и уверенный. Со времени знакомства с Мандельштамами она беспрерывно преподавала русский язык и литературу в Воронежском авиационном техникуме и была своему техникуму замечательно преданна.

Родом она была тоже из Воронежа, из семьи мелких дворян, у деда был хутор километрах в двадцати от города. И отец, и трое дядей Натальи Евгеньевны служили земскими врачами. Двоюродный брат, инженер, еще пока шла Гражданская война, то есть его соотечественники продолжали всем, чем только можно — снарядами, минами и пулями, — отрывать друг у друга конечности, наизобретал целую кучу разного рода протезов и начал организовывать в России мастерские по их производству.

Многие ее истории были просто замечательные. Вот две из них, обе они о чуде, причем стоит отметить, что, рассказывая обе, Наталья Евгеньевна никогда не забывала подчеркнуть, что ее родители в Бога не верили и она сама тоже не верит.

В 1903 году ее трехлетний двоюродный брат Костик забрался на крышу дачной террасы; только что прошел дождь, он поскользнулся, покатился вниз и, ударившись о крыльцо, сломал позвоночник. Два года Костик был полностью парализован. Родители возили его и в Москву, и в Петербург, там ребенка смотрели тогдашние медицинские светила — приговор был однозначным: они сами врачи и должны понять: сделать ничего нельзя, ребенок никогда не будет ходить.

Так сложились обстоятельства, что, когда Костику было пять лет, им снова пришлось поселиться на той же даче. Мальчик лежал в саду на соломенной кушетке, мать хозяйничала в доме. Ей показалось, что он ее зовет. Она спустилась с крыльца, подошла к ребенку и спросила, не надо ли чего. Он покачал головой, а потом сказал, что больше не хочет жить. Не помня себя, она схватила его в охапку и побежала по дороге, которая вела в Акатов-Алексеевский монастырь. Там, в старой церкви, она то ли положила, то ли просто бросила его на каменный пол и стала молиться. Забыв, где она и что с ней, несколько часов била и била поклоны. Очнувшись же от того, что Костик стоит рядом и, теребя ее за плечо, говорит: «Мама, мама, пойдем отсюда, здесь холодно».

Сама Наталья Евгеньевна в тринадцать лет заболела костным туберкулезом. Лечили ее многие врачи, но безуспешно. Зимой, когда на ноге открылся свищ, ее перевезли в больницу. Месяц температура была под сорок. Она почти все время бредила, но, когда была в сознании, понимала, что умирает. В больнице ей приснилось, что, если она отстоит обедню в Митрофановском монастыре, свищ закро-

ется, и она стала просить мать отвезти ее туда. Но мать не соглашалась и не понимала ее. Пыталась объяснить, что все это средневековая дикость, суеверие. Наконец брат матери сказал: «Сделай, как хочет Наташа, хуже не будет».

В феврале ее забрали из больницы и, укутав в шубы, уложили в сани — она хотела умереть дома. По дороге у Митрофановского монастыря отец остановил лошадь и отнес Наташу в церковь. Как она и просила, усадил ее у ковчега с мощами Митрофания и оставил одну. После обедни вернулся, и они поехали дальше. Через неделю свищ закрылся и туберкулезный процесс, хоть Наташа так и осталась хромоножкой, прекратился.

Город продолжал для меня населяться и дальше. Родители тогдашней моей подруги, а ныне жены Ольги, после войны несколько лет прожили здесь, работая в том же самом Воронежском университете. На вторую летнюю сессию Ольга взяла на журфаке направление на практику в Воронеж и приехала ко мне.

Моя будущая теща много рассказывала о разрушенном послевоенном городе. Почти год половина Воронежа была за нашими, половина — за немцами, беспрепятственные артиллерийские дуэли выгладили целые районы, срыли город чуть не до основания. Он и тогда, через несколько лет после конца войны, был изрыт землянками, жить было негде. И, тем не менее, она вспоминала это время как самое счастливое. У всех у них были мужья, хоть и израненные, но живые и знавшие, всегда помнившие, как им повезло. Так что все сразу сдружились, жили как родня. И еще после Москвы в этих черноземных краях было удивительно сыто. По субботам приезжали колхозники, и на рынке за гроши можно было купить свиной окорок или гуся, чтобы с рыночными же яблоками запечь на всю компанию.

По вечерам мы с Ольгой ходили из одной квартиры в другую, тасуя и сводя друзей Натальи Евгеньевны, Александра Иосифовича с друзьями Ольгиных родителей. Город был не слишком большой, все друг друга или напрямую, или через общих знакомых знали, и теперь уже все вернее делалось так, что город, где столько милых, добрых и симпатичных тебе людей, шаг за шагом делается твоим родным городом.

А закончить я хочу еще одной историей, в сущности, анекдотом, правда, довольно грустным. С 1984 года Александр Иосифович жил уже в Москве. Мы с ним, хотя и с перерывами, довольно часто встречались. Он знакомил меня со своими новыми учениками, разговоры так или иначе были о древности. И еще Немировский читал стихи, которые он, студент-ифлиец, писал всю жизнь. Иногда, уже за чаем, я все это разбавлял байками, которые любил рассказывать. И вот как-то он слушал меня, слушал и вдруг говорит: «Володя, а вы знаете, за что меня сняли с заведования кафедрой истории Древнего мира и выгнали из партии? Что было записано в решении партийного собрания ВГУ?»

Сейчас понимаю, что это решение достойно того, чтобы вслед за ленинской резолюцией быть обрамлено и увековечено. Между тем Александр Иосифович минуту молчит, выдерживая паузу, и торжественно объявляет: «Профессора-античника выгнали “за пропаганду Древнего мира”»¹.

¹ В изложенной здесь версии есть неточности. На самом деле в апреле 1972 года профессору А. И. Немировскому был объявлен партийный выговор за чрезмерное увлечение научной деятельностью, повлекшее, по мнению парткома ВГУ, «серьезные недостатки в идейно-воспитательной работе со студентами курируемого курса» (ГАОПИ ВО, ф. 412, оп. 2, д. 353, л. 109). Поводом к этому решению послужило отчисление из университета студентов 2-го курса исторического факультета А. Высоцкого, А. Семенова и И. Бушуева за выпуск рукописного журнала «Сексуал-демократ», содержавшего критику некоторых аспектов университетской жизни.